

Ромашки спрятались, поникли лютики

На исходе пьянки Виталик Фельдман неизменно запекает дурным голосом эту некогда катастрофически популярную, практически народную песню. Всех слов он, по всему судя, не знал никогда. А быть может, в силу алкоголического бессилья растерял, да так основательно, что произвольным образом слепилась симпатичная галерея словосочетаний. Например, "зачем вы девушки, одни страдания, поникли лютики от горьких слов". Или, допустим, "зачем вы девушки, вода холодная, сняла решительно от той любви". Случается, "Ромашки" пересекаются с "Таганкой", и тогда получается совсем уж немыслимый гибрид типа "зачем вы девушки, опять по пятницам, пиджак брошенный, казенный дом". В такие минуты взор страдальца Фельдмана увлажняется слезой, он добреет и даже раскошелливается на дежурный шкалик коньяка.

Фельдман идет с базара с некоторым опережением (меня), то есть несколькими годами взрослее, а потому ему обиднее, и хочется приискать виновных. Я с ним вполне солидарен. Болеть и стареть надо героически, а не понапрасну. Некоторым удастся сгореть на работе, но не каждому так везет. Остальные, по-видимому, обладают противопожарными свойствами. Я, к примеру, много лет вообще не хожу на службу по инвалидности, то есть практически бесперспективен в этом смысле. Приходится гореть дома. Виталик же выходит, горит с двух сторон, и ему все мало, хочется еще чего-нибудь социального, желательно адресного, от Президента там или Верховной Рады. Скажем, накинут пятилетку пенсионеру задним числом, так ему еще два года на службе гореть. Как по мне, не так уж плохо.

Нет, можно, конечно, поговорить о внуках. Он и говорит иной раз на том же голубом глазу. Фельдману нужна аудитория — прежде все годы лекции читал, экскурсии проводил, а нынче как бы несолидно. Куда ж энергию прикажете выплескивать, как гореть синим пламенем? Аудитория — серьезное дело, это когда сразу всех имеешь. А так что? С глазу на глаз, и оба голубые, в хорошем, конечно, смысле.

"Внук ухватит ладошкой палец, зашагает рядом, лепеча по ходу: "Деда, мы идем, мы идем..." Виталик умилительно все это так изображает, театрально. Вскоре стыдится себя, почти старческой своей слезливости, и дальше уже надрывно паясничает, рожи строит. Лицо у него складчато-выразительное, гуттаперчевое, фотопластичное. Какой мим безвозвратно уходит классически, понемногу.

"Мы идем..." Это верно. Это правильно. Это естественно. Но это неверно, неправильно и противоестественно. Детям не свойственно перемещаться однонаправленно, даже таким пожившим, как мы. Но мы идем, уже поневоле, и некого ухватить за большой палец.

Дети, к слову, бывают молчаливо тараторливы. Как это, спрашивается? Да очень же просто. И молчат, и тараторят на птичьем своем языке. Как многоречиво молчат! Вы наблюдали и сами когда-то, в гулкой своей рани, неумолчно молчали, интуитивно. До того, как научились читать "Молчи, скрывайся и тай". Чтоб не быть осмеянными и непонятыми. Как в том анекдоте: "Раньше все было хорошо".

С Фельдманом не помолчишь. Со мной тоже — просто некому. Как говорит мой приятель Вова Великанов, выпить всегда есть с кем, не с кем не выпить. Слава Богу — это не вводные слова, а истинная правда! — есть о чем говорить и есть о чем не говорить. Например, чего говорить об искусствоведении, которое не что иное, как навешивание ярлыков, да и только. Виталик согласен, хотя сам искусствовед. Зато это профессия, ибо должен же кто-нибудь навешивать, раз уж нам это не по нутру. Можно еще не говорить о гендерных проблемах — не вижу смысла, потому что еще не родился тот человек, который... далее по тексту. Можно не говорить о чем угодно, но не каждому дано.

Говорить тоже можно обо всем. За исключением того, о чем лучше помалкивать. Завтра может быть по-другому, и в этом нет никакого противоречия, поскольку вчерашний я — это как бы инициал и фамилия: Я. Вчерашний. Поэтому очень хорошо понимаю бабушек-старушек у подворотен и парадных восседающих: вот идет пьяный N, сейчас жена его венником охаживать станет — конкретика, которая живет всех живых. Вот и бабушки оживляются, самопроявляются и самозакрепляются фотобумагой. Зато у нас в запасе остается этакая перспектива.

Хорошо говорить о вчерашнем после этого самого вчерашнего. Так всего много — похвальбы, демонстративной алкоголической эрудиции, мотивирования, вкрадчивого воззвания к состраданию и проч. Мы и говорим, вдохновенно перебивая друг друга. В процессе Фельдман ненароком, походя, предлагает раздавить шкалик — начало положено.

Меж тем хорошо горится не только на службе, но и дома. А если нет, так можно завести пару-тройку домов, чтоб уж сгореть наверняка. Когда перебежками, от семьи к семье, так лучше разгорается. Опять-таки, есть что подкинуть в топку разговора на голубом глазу. Детей, правда, жалко, а себя как бы нет. Хотя на самом деле тоже очень.

"Деда, можно к тебе? Я ботинки снял". Хотя Фельдман безоговорочно принял бы и в ботинках. Улегся к нему на впалую интеллигентскую грудинку котенком. Прошелестел доверительно: "Я бы съел чего-нибудь". Дедушка Виталик, вообще говоря, и сам бы чего-нибудь схрюпал, а то и кого-нибудь. Дети с кем-то громогласно общаются по скайпу — видать, и они одиноки. Дети детей одиноки, покуда родители общаются. Отец детей этих детей одинок, покуда одни общаются со вторыми вместо первых. "Идем, — говорит, — пошарим в холодильнике, никто и не заметит". Пошарили удачно. Смачно так трескают похожую на эскимо колбаску, валяются в обнимку, радостно уставившись в сиреневый потолок. Есть все-таки в жизни счастье, и вот оно меж ними разлеглось. В вышних — только лампочка, тусклая, не горит, пожалуй. Оно и означает: всё до лампочки. То есть абсентеизм измеряется в свечах. Их впоследствии много по тебе сгорит в оправдание.

Славно горится у костра. Мы там, на чудом выжившей Фельдмановской старенькой приморской дачке, как распалим, да как распалимся, так мало не покажется. Шашлык исключен из репертуара категорически — как банальность. Христолюбивую рыбешку печем на решетке: и повседневно голенькую, и празднично в фольгу приодетую. Картошку. В мундирах и без. Такие себе юные пионеры.

На этой дачке в затертые времена местная избранная интеллигенция — художники, там профессура университетская, медики и прочие недобитки из бывших очкастых — отмечала ею же придуманный День сирени. Выбিরали ближайший к расцвету оной выходной, тащили, кто что мог, а после несли, кто что имел за душой. Хотя со временем кой о чем и помалкивали. А все одно в очередной сиреневый день становилось их все меньше и, что характерно, далеко не по одним объективным причинам. Сгорели, это точно. Прорву лет спустя мы с Виталиком к этому дню и к этой сирени демонстративно и запоздало вернулись. Сирень ведь та же самая, что ей сделается. Ну и море, конечно, если б не Айвазовский и прочие навязчивые маринисты. Хотя сирень как бы такой же натюр-морт, как море и шашлык, который тоже, по сути, один и тот же. Короче говоря, завтрак на траве, над морем, трава на дворе, на траве дрова, то есть мужики пьяные, и потому самоуверенные, а на самом деле нанюхавшиеся сирени и обожравшиеся палеонтологического мяса. Неудачливые в попытке за что-нибудь уцепиться и ощутить твердую почву, датскую, вестимо. Давеча сын-подросток удивил стишком собственного производства — молодой, да, видно, из ранних: "Сирень — цветы? Сирень — сирень. И день —

не жизнь, и жизнь — не день: смятенье, тень, недоуменье, конёк сиреневый, шальной лесной олень".

...Внук незаметно задремал. Виталик теряет из вида лампочку, до которой всё. Сонно озирается. На стене репродукция, Борисов-Мусатов: "Мы вернемся сюда, когда зацветет сирень". Вернемся. Это точно.

Сюда?

